

Личность и священное

Коллективность — Личность — Безличное — Права — Справедливость

Симона Вейль

1957

От переводчика

Статья «Личность и священное» написана в Лондоне, вероятно, в январе 1943 года. Пошел второй месяц, как Симона Вейль, прибывшая в Англию в конце ноября, была зачислена редактором в аппарат «Сражающейся Франции». Ее главный начальник, комиссар по внутренним делам (фактически министр зачаточного министерства) Андре Филип, успел уже не раз усомниться в верности этого шага. Ни для административной, ни для канцелярской, ни для пропагандистской работы Симона не годилась решительно. Одной из функций комиссариата было составление законопроектов для временного правительства, которому предстояло возглавить Францию после освобождения силами союзников. В частности, здесь, в офисе на Хилл-стрит, редактировались проекты конституции страны, «Декларации прав личности», закона о политических партиях, о профсоюзах и других актов, которые очертили бы будущее государственное устройство. Как известную участницу политической и профсоюзной борьбы 30-х годов, Симону привлекли к рассмотрению некоторых из этих документов, и она взялась за дело горячо и старательно, но вскоре стало понятно, что «Сражающаяся Франция» приобрела не услужливого сотрудника, а человека с собственными взглядами, который готов их упорно отстаивать вопреки любой субординации и коллективной дисциплине. Симона принесла с собой такие понятия о философских и нравственных основаниях политики, которые не могли не шокировать здешних функционеров. Заметим, что большая часть их определяла свои политические позиции с помощью эпитета-приставки «христианский»: как христианско-демократические, христианско-социалистические и т.п. Но Симонины трактаты — да, то были настоящие трактаты или даже античные философские послания, но никак не докладные записки для начальства — Симонины трактаты, с постоянными отсылками к «чистому благу», «истине», «красоте», «гармонии» как к практическим критериям, в глазах этих христиан-политиков выглядели совершенно неуместным и отталкивающим юродством. После того как что-то из написанного ею попало на стол к де Голлю, он во всеуслышание назвал ее сумасшедшей...

Оставалось немногим больше полугода до смерти Симоны в туберкулезном санатории в ста милях от Лондона. До похорон, на которых ее тело проводят лишь семь человек. До безвестной могилы, на которой много лет не будет даже плиты с именем.

Итак, «Личность и священное». Отзыв на проект «Декларации прав личности», которой предполагалось ознаменовать возрождение республики. Первый «рабочий документ» Симоны, канувший среди бумаг комиссариата внутренних дел Французского национального комитета. Первая работа ее «лондонского цикла», знаменитого высказываниями, которых ей не могут простить и по смерти, — но до сих пор, кажется, не прочитанного с тем вниманием, с той преданной любовью к справедливости и истине, которые сама Симона Вейль считала необходимым условием любого познания.

Петр Епифанов

Пущино-на-Оке, январь 2019 года

Личность и священное

«Вы меня не интересуете». Слова, которые ни один человек не может обратить к другому, не совершая при этом жестокость и не попирая справедливость.

«Ваша личность меня не интересует». Фраза, которая еще может, прозвучав в задушевном разговоре между близкими друзьями, не оскорбить то, что наиболее нежно-пугливо в дружбе.

Подобным образом, не унижая себя, можно сказать: «Моя личность ничего не значит», но нельзя: «Я ничего не значу».

Вот иллюстрация того, что словарь так называемого персоналистского направления современной мысли ошибочен. В той области, где имеется грубая ошибка в словаре, навряд ли обходится без грубой ошибки мышления.

В каждом человеке есть что-то священное. Но это не его личность. И даже не то, что "он творение". Это просто он сам, этот человек.

Вот на улице прохожий с длинными руками, голубыми глазами, с умом, где вращаются мысли, которых я не знаю, но, возможно, они совершенно заурядны.

Священна для меня в нем не его личность, не человеческая личность. Но он сам. Весь целиком. руки, глаза, мысли — всё. Причинив вред хоть чему-то из этого, я буду испытывать бесконечные угрызения совести.

Если бы тем, что в нем для меня священно, была человеческая личность, я могла бы запросто выцарапать ему глаза. Слепнув, он будет человеческой личностью точно так же, как и раньше. А я бы и не дотронулась в нем до человеческой личности. Я оставила бы его без глаз.

Дать определение уважения к человеческой личности невозможно. Его не только нельзя определить словами. Так обстоит дело со многими прекрасными понятиями. Но это понятие не может быть даже и познано; оно не может быть определено, отграничено даже безмолвным действием мысли.

Взять за правило общественной морали некое понятие, которого нельзя ни определить, ни познать, означает открыть путь ко всякого рода тирании.

Понятие прав, пущенное в свет в 1789 году, по своей внутренней неудовлетворительности было бессильно выполнить ту миссию, которую на него возлагали.

Совмещение двух недостаточных понятий, когда мы говорим о правах человеческой личности, поведет нас не дальше.

Так что же именно не дает мне выцарапать глаза вот этому человеку, если мне это дозволено и даже забавляет меня?

Даже если он священен для меня весь целиком, он священен для меня не во всех отношениях, не со всех точек зрения. он священен для меня не в том качестве, что руки его длинны, не в том, что глаза у него голубые, и не в том, что мысли у него, возможно, заурядны. и если он герцог, то не в качестве герцога. и если он тряпичник, то не в качестве тряпичника. Удержит мою руку не что-либо из этого.

Ее удержит сознание, что если кто-то выцарапает этому человеку глаза, его душа будет разорвана мыслью, что ему делают зло.

Есть, от младенчества до могилы, в глубине сердца каждого человеческого существа что-то такое, что, вопреки всему опыту преступлений, совершённых, перенесенных, виденных, непреодолимо ожидает, что ему сделают добро, а не зло. Вот что, прежде всего другого, священно в каждом человеке.

Благо — единственный источник священного. Священно только благо и то, что относится к благу.

Глубинная, детская часть сердца, всегда ожидающая блага, — не та, в которой живут притязания. Маленький мальчик, ревниво следящий, как бы его брат не получил кусок пирога хоть немного больше, чем он, уступает побуждению, исходящему из гораздо более поверхностной части души. Слово «justice» имеет два очень разных значения, связанных с этими двумя частями души. Важно из них лишь первое.

Всякий раз, когда из глубины человеческого сердца поднимается тот детский плач, от которого не мог удержаться и Сам Христос: «Почему мне делают зло?» — несомненно, имеет место несправедливость. Ибо если даже, как нередко бывает, это всего лишь следствие ошибки [кричащего], тогда несправедливость состоит в неудовлетворительности объяснения.

Те, кто наносят удары, исторгающие этот крик, поступают так по разным мотивам, в зависимости от характера и от момента. Некоторые из них в иные моменты находят для себя в этом крике наслаждение. Многие же и не ведают о нем. Ибо это крик безмолвный, звучащий только в тайне сердца.

Названные два состояния духа ближе, чем может показаться. Второе — лишь ослабленная разновидность первого. Мы охотно принимаем на себя это неведение, так как оно приятно; оно тоже содержит в себе некое наслаждение. У наших желаний нет других пределов, кроме необходимости, которой подчинена материя, и существования других людей вокруг нас. Любое воображаемое расширение этих пределов улаживает, и, таким образом, наслаждение присутствует во всем, что дает нам забыть о реальности препятствий. Вот почему столь опьяняют такие потрясения, как война и гражданская война, которые лишают человеческие существования их реальности и словно делают из людей марионеток. Вот почему рабство так улаживательно для господ.

У тех, кто, как рабы, вынес слишком много ударов, та часть сердца, которую причиняемое зло заставляет кричать от недоумения, кажется мертвой. Но она никогда не бывает полностью мертва. Она просто не в силах больше кричать. Она оцепенела в состоянии глухого и непрерывного стога.

Но даже у тех, кто сохраняет силу кричать, этому крику почти не удастся выразить себя, хоть внутри, хоть снаружи, в связных словах. Чаще всего слова, которыми пытаются передать этот крик, попадают совершенно мимо. Этого трудно избежать, поскольку те, кому чаще всего приходится чувствовать, что им делают зло, хуже всего умеют говорить. Нет ничего отвратительнее, чем наблюдать в суде, как какой-нибудь несчастный лепечет перед судьей, в рафинированных выражениях отвечающим ему тонкими насмешками.

Не считая интеллекта, единственная человеческая способность, поистине заинтересованная в публичной свободе выражения, — та часть сердца, которая кричит,

протестуя против зла. Но поскольку она не умеет выразить себя, свобода для нее немногого стоит. Надо сперва, чтобы общественное образование давало ей сколь возможно больше средств выражения. Далее, для публичного выражения мнений нужны такие условия, которые определялись бы не столько свободой, сколько атмосферой молчания и внимания, дающей услышать этот слабый и неумелый крик. Нужна, наконец, система установлений, сколько возможно приводящая к управляющим должностям людей, способных и желающих его слушать и понимать.

Понятно, что партия, занятая завоеванием или сохранением за собой государственной власти, может расслышать в этом крике всего лишь шум. Иотреагирует по-разному, в зависимости от того, мешает ли этот шум ее собственной пропаганде или благоприятствует ей. Но в любом случае она не способна на нежное и прозорливое внимание, необходимое для понимания его смысла.

То же, хоть и в меньшей степени, свойственно организациям, по заразности примера копирующим партии (там, где общественная жизнь определяется деятельностью партий), — всем организациям, включая, например, профсоюзы и даже церкви.

Разумеется, партии и уподобляющиеся им организации точно так же чужды и интеллектуальной щепетильности.

Когда свобода выражения сводится для организаций такого рода к свободе пропаганды, те две части человеческой души, которые только и заслуживают свободы выражения, оказываются не имеющими этой свободы. или имеют ее в минимальной степени — едва ли большей, чем при тоталитаризме.

Однако именно так обстоит дело в той демократии, где межпартийные отношения регулируют распределение власти, то есть в системе, которую мы, французы, до сих пор именовали демократией. Ибо другой мы не знаем. Нужно, следовательно, придумать что-то другое. Тот же критерий, если его по аналогии приложить к любой общественной институции, может привести к заключениям, в равной степени очевидным.

Предоставляет этот критерий не личность. крик скорбного недоумения, который поднимает в глубине души причинение зла, не есть что-то личностное. Чтобы его вызвать, недостаточно ущерба для личности и ее желаний. Он всегда вызывается чувством контакта с несправедливостью через скорбь. Всегда, у последнего из людей, так же как у Христа, этот крик представляет собой обезличенный протест.

Он очень часто поднимается и среди криков личностного протеста, но они не имеют значения; можно сколько угодно вызывать его и при этом ничем не посягнуть на священное.

Священное — это далеко не личность; это, [напротив,] в человеческом существе как раз то, что безлично.

Всё, что есть безличного в человеке, священо — и только оно.

В наше время, когда писатели и ученые узурпировали место священников, публика с угодливостью, абсолютно не основанной на разуме, признаёт художественные и научные способности священными. Это всеми почитается за очевидное, хотя отнюдь не является таковым. когда считают необходимым дать тому объяснение, утверждают, что использование этих способностей относится к высшим формам самореализации (*épanouissement*) человеческой личности.

Часто, в самом деле, оно этим и бывает, — но и только этим. В таком случае, легко осмыслить, чего оно стоит и что дает.

Оно дает отношение к жизни вроде столь обычного в наш век, выраженного жуткой фразой Блейка: «Лучше задушить ребенка в колыбели, чем поддерживать в нем желание без удовлетворения»¹. Или такое, как то, что породило концепцию беспричинного действия (*l'acte gratuit*). Дает науку, признающую все мыслимые нормы, критерии и ценности, кроме истины.

Григорианское пение, романские церкви, «илиада», изобретение геометрии — все эти вещи не были случаями самореализации для людей, через которых они передавались, пока не дошли до нас.

Те наука, искусство, литература, философия, которые суть только формы самореализации личности, составляют область, где случаются яркие и славные достижения, обеспечивая тем или иным именам известность на тысячелетие. Но выше, бесконечно выше этой области, отделенная от нее бездной, существует другая, где находятся абсолютные шедевры. и они, в сущности, анонимны.

Дело чистого случая — сохранено или утеряно такое-то из имен людей, попавших в эту область; даже если оно сохранилось, сами они ушли в безымянное. их личность исчезла. Истина и красота живут в этой области вещей безличных и безымянных. И только она священна. А другая область — нет, а если и да, то лишь так, как пятно краски на картине, изображающее гостию.

Священное в науке — истина. В искусстве — красота. и истина и красота безличны. Всё это даже слишком очевидно.

Если ребенок складывает числа и ошибается, то ошибка носит отпечаток его личности. Если же он выполняет сложение совершенно правильно, его личность в этой операции полностью отсутствует.

Совершенство безлично. Личность в нас — это часть ошибки и греха внутри нас. Все усилия мистиков всех веков были устремлены к тому, чтобы в их душе больше не было части, говорящей «я».

Но еще бесконечно опаснее часть души, говорящая «мы».

Переход в безличное совершается только посредством внимания редкого качества и такого, какое возможно лишь в уединении. Не только в уединении физическом, но в уединении моральном. Он никогда не получается у того, кто мыслит себя членом коллективной общности, частью некоего «мы».

Люди в коллективе лишены доступа к безличному, даже в его низших формах. Группа человеческих существ не способна выполнить даже арифметическое действие сложения. Сложение производится в уме, который на миг забыл, что существует еще какой-то другой ум.

Личное противостоит безличному, но существует переход от одного к другому. Перехода от коллективного к безличному не существует. Нужно сначала, чтобы коллективная общность распалась на отдельные личности, и тогда уже стало бы возмож-

¹ Уильям Блейк. Пословицы ада (в передаче Симоны, вероятно, по памяти). В оригинале: «*Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires*». *Здесь и далее примеч. переводчика.*

но войти в безличное. Только в этом смысле личность более причастна священному, чем коллектив.

Коллектив не только чужд священному, но он и вводит в заблуждение, предлагая его фальшивую имитацию.

Заблуждение, придающее коллективу священный характер, есть идолопоклонство; во все времена и во всех странах это самое распространенное преступление. Тот же, в чьих глазах важна лишь самореализация личности, полностью утратил само чувство священного. Неизвестно, какое из двух заблуждений хуже. Подчас они сочетаются в той или иной пропорции внутри одного и того же ума. Но второе заблуждение обладает гораздо меньшей энергией и продолжительностью, чем первое.

С духовной точки зрения, война между Германией образца 1940 года и Францией образца 1940 года была главным образом войной не между варварством и цивилизацией, не между злом и добром, а между первым и вторым заблуждением. Победа первого не удивляет: первое заблуждение сильнее само по себе.

Подчинение личности коллективу не есть что-то из ряда вон выходящее; это один факт из порядка механических фактов, такой же, как подчинение грамма килограмму на чашках весов. на самом деле личность подчинена коллективу всегда — среди прочего и в том, что называют ее самореализацией.

К примеру, именно художники и писатели, более всего склонные рассматривать свое искусство как реализацию своей личности, на деле более всего подчинены вкусам публики. Гюго без затруднений совмещал культ самого себя и роль «звучного эха»². Еще нагляднее такие примеры, как Уайльд, Жид или сюрреалисты. И ученые соответствующего уровня также рабствуют моде, которая еще больше властна над наукой, чем над формой шляп. Коллективное мнение специалистов имеет почти неограниченную власть над каждым из них.

Поскольку и фактически, и в соответствии с природой вещей личность подчинена коллективу, для нее не существует естественного права.

Справедливо говорят, что древность не имела понятия об обязательном уважении к личности. для столь путаной концепции древность мыслила слишком ясно.

Человеческое существо может оторваться от коллектива, только поднявшись над личным, чтобы проникнуть в безличное. В этот момент есть в нем нечто, некая частица его души, над которой ничто коллективное не может иметь власти. если эта частица способна укорениться в безличном, то есть научиться черпать из него энергию, тогда она будет и в состоянии всякий раз, когда считает это своим долгом, противопоставить любому коллективу, не опираясь при этом ни на какой другой, хоть небольшую, но реальную силу.

Бывают случаи, когда почти бесконечно малая сила оказывается решающей. Коллектив намного сильнее одного человека; но всякий коллектив ради своего существования нуждается в действиях, простейшим примером которых является сложение и которые выполняются лишь умом в уединенном состоянии. Эта нужда создает

² Гюго в сборнике «Осенние листья» (1831).

возможность победы безличного над коллективным, умей мы только научиться эту нужду использовать.

Любому из тех, кто проник в область безличного, знакомо чувство ответственности перед всеми человеческими существами. Ответственности за то, чтобы защитить в них не личность, но то, за чем личность оставляет хрупкие возможности перехода в безличное.

Именно к ним должен быть в первую очередь обращен призыв уважать священный характер человеческих существ. Ибо, чтобы такой призыв получил воплощение, надо адресовать его тем, кто способен его услышать.

Бесполезно объяснять коллективу, что в каждой из единиц, составляющих его, заключено что-то такое, что он не должен ломать. Во-первых, коллектив может быть «кем-то» разве что в фантазии; он имеет существование лишь как абстракция; говорить ему — действие мнимое. Даже если бы он был кем-то, это был бы такой кто-то, кто не склонен уважать никого, кроме себя.

К тому же самая большая опасность — это не склонность коллектива подавлять личность, но склонность личности бросаться, погружаться в коллективное. Или, может быть, первая опасность — всего лишь внешний и обманчивый аспект второй.

Если бесполезно говорить коллективу, что личность священна, столь же бесполезно говорить личности, что священна она сама. Она не может в это поверить. Она не чувствует себя священной. Причина, мешающая личности чувствовать себя священной, есть то, что она фактически таковой не является.

Если есть люди, чья совесть свидетельствует иное, — те, кому их собственная личность дает некое чувство священного, которое они, как им кажется, в порядке обобщения вправе распространить на всякую личность, — эти люди находятся в двойной иллюзии.

То, что они испытывают, — не подлинное чувство священного, но та ложная имитация священного, которую производит коллективное. Если они испытывают это относительно собственной личности, то лишь потому, что их личность причастна коллективному престижу, через свой социальный статус, носителем которого предстает.

Итак, они верят в возможность такого обобщения лишь по ошибке. Пусть даже это обобщение исходит из благородного побуждения, оно не может иметь достаточной силы, чтобы на их глазах безымянная человеческая материя перестала быть безымянной человеческой материей. Но навряд ли им представится случай это осознать, ибо с этой-то материей у них нет контакта.

В человеке личность — есть та вещь, которая в беде, которой холодно, которая ищет убежища и тепла. А этого как раз не хотят знать те, у кого личность, пусть даже в чаяниях, тепло укутана социальным статусом.

Вот почему персоналистская философия возникла и распространилась не в простом народе, но среди писателей, которые в силу профессии или имеют, или надеются приобрести имя и репутацию³.

³ Казалось бы, едва ли не вся новоевропейская философия родилась не в среде простонародья, и слова Симоны звучат наивно, если не демагогически. Тем не менее известны и противоположные примеры, и именно они служили для Симоны образцом. Даже оставляя в стороне шлифовальщика линз Спинозу и сапожника Бёме, напомним, что в рабочей среде вырос Жюль Ланьо, один из любимых

Отношения между коллективом и личностью должны иметь единственную цель: устранять то, что способно мешать увеличению и таинственному развитию безличной части в душе.

Ради этого нужно, с одной стороны, чтобы каждая личность имела вокруг себя определенное пространство, какую-то степень свободного распоряжения временем, возможности для перехода на всё более и более высокие уровни внимания, уединение, молчание. Нужно, одновременно, чтобы она пребывала в тепле, чтобы бедственное положение не принуждало ее погружаться в коллективное.

Если таково благо, то, кажется, трудно зайти дальше в направлении зла, чем современное общество, даже демократическое. В частности, современная фабрика находится, возможно, не очень далеко от предельного ужаса. Каждого человека здесь непрерывно преследует и жалит вмешательство чужих волей, в то время как душа чувствует холод, горечь и заброшенность. Человек нуждается в теплом молчании, а его ввергают в ледяную суматоху.

Физический труд, пусть он будет даже изнурителен, сам по себе не является деградацией. Он — не искусство; он — не наука; он другая вещь, имеющая с искусством и наукой совершенно равную ценность, Ибо обеспечивает равную возможность доступа к безличной форме внимания.

Выцарапать глаза подростку Ватто и заставить его крутить жернов было бы не большим преступлением, чем поставить к конвейерной ленте или посадить на маневровую машину, при сдельной оплате, паренька, имеющего призвание к этому виду труда. Только это призвание, в противоположность призванию живописца, трудно разглядеть.

Ровно в той мере, как искусство и наука, хотя и иным образом, физический труд есть некое соприкосновение с реальностью, истиной, красотой этого мира и с вечной мудростью, лежащей в основе его устройства.

Поэтому осквернение труда — святотатство, точно в таком смысле, в каком святотатство — топтать ногами священную гостию.

Если бы те, кто трудится, чувствовали это — если бы они чувствовали, что, будучи жертвами этого, они в некотором смысле являются и соучастниками, их сопротивление получило бы совсем иной импульс, чем тот, который способна придать мысль об их личности и ее правах.

Это не было бы выставлением требований; это было бы восстанием всего существа, пылким и отчаянным, как у юной девушки, которую хотят насильно отправить в публичный дом; и в то же время это было бы криком надежды, звучащим из самой глубины сердца. И чувство этого все-таки живет в людях труда, но настолько не проговорено, что неразлично для них самих. Профессионалы слова совершенно не способны дать им его выражение.

Когда с рабочими говоришь об их собственной судьбе, они обычно выбирают, чтобы с ними говорили о заработной плате. Во власти изнурения, которое тяготит

мыслителей Симоны. До самой смерти не оставлял рыбацкого труда в своей нормандской деревне ученик Ланьо, философ Леон Летеллье, с сыном которого Симона дружила в лицейские годы. Наконец, яркий образец философа-крестьянина она могла видеть в Гюставе Тибоне, у которого жила и работала осенью 1941 года.

их, любое усилие внимания обращая в боль, они с облегчением принимают простую ясность цифр.

При этом они забывают, что предмет, о котором идет торг, предмет, который, как они сетуют, их вынуждают продавать по дешевке, за который им не дают справедливую цену, есть не что иное, как их душа.

Представим себе, как бес вот-вот купит душу несчастного, а кто-то, пожалев этого несчастного, вступает в разговор и говорит бесу: «И как не стыдно вам предлагать такую цену? Товар стоит по крайней мере вдвое дороже».

Как раз такой зловещий фарс разыгрывает рабочее движение, вместе со всеми своими профсоюзами, партиями, левыми интеллектуалами.

Этот дух сделки уже содержался в понятии прав, неосмотрительно помещенных людьми 1789 года в центр призыва, который они прокричали в лицо миру. Что заранее лишило это понятие силы.

Понятие прав связано с понятиями раздела, обмена, количества. В нем есть что-то от сферы торговли. Само по себе оно заставляет вспомнить судебный процесс, иск. Права заявляют себя не иначе, как тоном претензии; и как только этот тон усваивают, тут же рядом, прямо за ним, встает и готовая их подкрепить сила, — иначе они будут лишь предметом насмешки.

Есть некоторое количество понятий — все они относятся к одной и той же категории, — которые сами по себе полностью чужды сверхъестественному, находясь при этом немного выше грубой силы. Говоря языком Платона, все они связаны с повадками коллективного зверя, сохраняющего какие-то следы укрощения, произведенного сверхъестественным действием благодати. Когда эти следы не возобновляются постоянно через возобновление этого действия, когда они — лишь пережитки, то по необходимости зависят от капризов зверя.

Понятия прав, личности, демократии принадлежат именно к этой категории. Бернанос имел мужество написать, что демократия ничем не защищена от диктаторов⁴. Личность по природе подчинена коллективу. Права по природе зависят от силы. обманы и заблуждения, насилующие истину, крайне опасны, ибо препятствуют обращаться к тому единственному, что избегает силы и оберегает себя от нее, то есть к другой силе — сиянию ума. Тяжелая материя способна подниматься против направления силы тяжести разве что в растениях, посредством солнечной энергии, которую уловила зелень листьев и которая действует в соке. Сила тяжести и смерть постепенно, но неумолимо опускают вниз растение, лишенное света.

⁴ «Меня тошнит, г-н Рузвельт, когда я слышу, — даже от г-на Маритена, — будто демократии противостоят диктатурам. Демократия ничем не защищена от диктатуры, вот в чем правда. Любая демократия в любой момент может испытать приступ диктатуры, как бывает приступ аппендицита, и национальный темперамент здесь ничего не значит. Нет народа, больше отличающегося от немецкого, чем народ итальянский, однако если один рожден волком, зато второй очень легко превратился в гиену или шакала. <...> Меня тошнит, г-н Рузвельт, когда я слышу в ответ, что, отвергая демократов, я подыгрываю поборникам тоталитаризма. Если мне не дано иного выбора, кроме как между этими двумя изобретениями современного мира, то это — ошибка, и не моя» (*Жорж Бернанос*. Открытое письмо Франклину Д. Рузвельту, сентябрь 1941. Перевод мой. — П. Е.).

Среди этих обманов — и ложь о естественном праве, которую пустил в свет материалистический XVIII век. Не Руссо, ум ясный, мощный и по вдохновению подлинно христианский, но Дидро и круг Энциклопедии.

Понятие прав пришло к нам из Рима и, как всё, что пришло из Древнего Рима, этой женщины, преисполненной имен богохульных, о которой говорит Апокалипсис⁵, оно — языческое и не поддается крещению. Римляне, усвоив, как и Гитлер, что сила достигает полноты эффективности, лишь будучи облечена в некоторые идеи, использовали для этой цели понятие прав. Оно очень хорошо для этого годится. Современную Германию обвиняют в том, что она это понятие презирует. Но она сполна воспользовалась им в своих притязаниях страны-пролетария. Правда, за теми, кого она покоряет, она не признает иных прав, кроме права повиноваться. Так и Древний Рим.

Прославлять Древний Рим за то, что он оставил нам в наследство понятие прав, особенно возмутительно. Ибо если мы присмотримся, чем было это понятие в своей колыбели, чтобы разобраться, какого оно рода, то увидим, что собственность определялась правом использования и даже злоупотребления. А фактически бо́льшую часть тех вещей, на которые у хозяина было право использования и злоупотребления, составляли человеческие существа. Греки не имели понятия прав. У них не было слов, чтобы его выразить. Им хватало слова «справедливость».

Только по странной путанице можно было уподобить неписанный закон Антигоны естественному праву⁶. В глазах Креонта, в том, что сделала Антигона, нет ничего естественного. Он считает ее безумной.

⁵ Откр. 17:3 и слл.: «...Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».

⁶ Возражение Жаку Маритену, писавшему в книге «Права человека и естественный закон» (1942): «Идея естественного права унаследована из христианской и из классической идеи. она восходит не к философии XVIII века, который ее более или менее деформировал, но <...> к великим моралистам античности и к ее великим поэтам — Софоклу, в частности. антигона — вот неизменная героиня естественного права, которое древние называли неписанным законом, и это название лучше всего ему соответствует» (Jacques et Raïssa Maritain. *Euvres complètes*. Paris–Fribourg, 1988. Vol. VII. P. 657). Представление об Антигоне как о защитнице идеи «естественного права» вошло в литературу в XIX веке, очень скоро сделавшись хрестоматийным. Нам не удалось выяснить, кто первым пустил его в ход. Гегель, в 1821 году упоминая антигону в своей «Философии права» (II, 3, §144), этого буквально не говорит, но спустя двадцать лет в России гегельянец Белинский уже смело напишет, что «в лице героини <...> осуществлена идея естественного права семейственности, а в лице креона — торжество государственного права, силы закона». Характерно также заявление немецкого правоведа отто фон Гирке: «тот образ, в котором естественно-правовая мысль впервые проникла к нам и стала действовать, она приобрела благодаря объединению усилий схоластической философии и ученой юриспруденции Средневековья. Ее элементы возникли, пожалуй, в древние времена. Однако греки, которые первыми противопоставили «справедливое по природе» праву, основанному на уставе людей, при этом никак не проводили различие между областями права и этики. Эллинам, например, даже нельзя было бы растолковать в языковом отношении вопрос, о чем идет речь в „Антигоне“ Софокла: о конфликте между позитивным и естественным правом или о конфликте между правом и моралью» («Естественное право и немецкое право», 1882). Такое толкование отразилось и в переводах: «Меня моих он прав лишить не может», — восклицает Антигона в переводе Ф. Зелинского.

Не нам доказывать ему, что он не прав; не нам, кто теперь думает, говорит и действует в точности как он. Можно убедиться в этом, обратившись к тексту.

Антигона говорит Креонту: «Это повеление объявил не Зевс; не Справедливость, спутница богов иного мира, установила подобные законы среди людей»⁷. Креонт пытается убедить ее, что его повеления справедливы; он обвиняет ее в том, что она оскорбила одного из своих братьев, почтив другого, ибо ее поступком одна и та же честь была оказана нечестивому и верному, тому, кто умер, пытаясь погубить родину, и тому, кто погиб, защищая ее.

Она отвечает: «Тем не менее иной мир требует [для них] равного закона». Он благоразумно возражает: «Но не может быть равной доли доблестному и предателю». Она находит на это лишь такой абсурдный ответ: «Кто знает, законно ли это в ином мире?»

Креонт замечает совершенно резонно: «Но никогда, даже после смерти, враг не станет другом». А эта дурочка свое: «Я рождена разделять не ненависть, но любовь»⁸.

На что Креонт говорит еще более резонно: «Так и отправляйся в иной мир и, коль тебе надо любить, люби тех, кто там».

И правда, это было ее самым настоящим местом. Ибо неписанный закон, которому была послушна эта девушка, не имеющий вовсе ничего общего ни с каким-то правом, ни с чемлибо естественным, был не что иное, как та любовь, предельная и абсурдная, которая возвела Христа на крест.

Справедливость, спутница божеств иного мира, — вот кто заповедует эту чрезмерность любви. Никакое право ее не предписало бы. Право не имеет прямой связи с любовью. Как понятие прав чуждо греческому уму, так чуждо оно и христианскому вдохновению — там, где это вдохновение чисто, не смешано с римским, или еврейским, или аристотелевским наследием. Невозможно представить св. Франциска Ассизского рассуждающим о правах.

Можно высказать кому-нибудь, кто способен слушать, слова: «То, что вы мне делаете, несправедливо», — и этим задеть его за живое, разбудив в самом истоке дух внимания и любви. Но не слова: «Я имею право на...» — ибо они выражают прикровенную войну и пробуждают дух войны. Понятие прав, поставленное в центр социальных конфликтов, делает невозможным с обеих сторон всякий оттенок милующей любви (*de charité*).

Невозможно, после того как ты извлек из дела почти исключительную пользу, сохранять пристальный взгляд на реальную проблему. Крестьянин, на которого нахально давит рыночный перекупщик, склоняя продать ему яйца по низкой цене, вполне может ему ответить: «Я вправе не продавать яйца, если мне не дают за них хорошую цену». Но юная девушка, которую вот-вот потащат силой в бордель, не будет говорить о своих правах. В этой ситуации слово покажется смешным из-за своей недостаточности.

Вот почему социальная драма, аналогичная второй ситуации, через использование этого слова предстает в ложном свете — как аналог первой.

⁷ Софокл, Антигона, 450–452.

⁸ Там же, 511–523.

Использование слова «права» сделало из того, что должно быть ревом из глубины утробы, унылый крик притязания, не имеющий ни чистоты, ни действенности.

Понятие прав естественным образом влечет за собой, в силу своей собственной посредственности, посредственность личности, ибо права относятся к вещам личного порядка. Оно находится на том же уровне.

Соединяя со словом «права» слово «личность», то, что означает права личности, с тем, что называют ее преуспеянием, мы допустили бы еще намного большее зло. Крик угнетенных опустился бы еще ниже тона притязания, он принял бы тон зависти.

Ибо личность «преуспеивает» лишь тогда, когда ее раздувает социальный престиж; ее преуспеивание — социальная привилегия. Этого не говорят массам, проповедуя им о правах личности, — им говорят противоположное.

Сами они не располагают достаточной способностью к анализу, чтобы самостоятельно это четко уяснить; но они это чувствуют, их убеждает в этом их повседневный опыт.

Это не может быть для них мотивом отвергнуть этот лозунг. В наше время помрачения умов не составляет труда требовать для всех равную долю в привилегиях, в таких вещах, которые являются по сути своей привилегиями. Это притязание одновременно и абсурдно и низко: абсурдно, поскольку привилегии по определению не бывают равными; низко, ибо они не стоят того, чтобы к ним стремиться.

Но категория людей, формулирующих и притязания, и всё на свете, людей, обладающих монополией слова, — как раз привилегированная категория. Они не скажут, что привилегии не стоят желания. Они так не думают. Но прежде всего, им просто неприлично это говорить.

Множество необходимых истин, которые могли бы спасти людей, не выговариваются по причинам такого же рода: те, кто мог бы их высказать, не в состоянии их сформулировать, а те, кто мог бы сформулировать, не могут высказать. Справиться с этой бедой кажется одной из насущных проблем истинной политики.

В неустойчивом обществе привилегии связаны с нечистой совестью. одни прикрывают их наглостью, говоря массам: «Это совершенно в порядке вещей, что у вас нет привилегий, а у меня есть». Другие уверяют их с видом дружелюбия: «Я требую для всех вас равной доли в привилегиях, которыми обладаю сам».

Первая позиция — омерзительна. Второй не хватает здравого смысла. Слишком уж она легковесна.

И та и другая подгоняют народ в беге по пути зла, в удалении от единственного и подлинного блага, которым он хоть и не обладает, но, в определенном смысле, оно очень к нему близко. Народ намного ближе к подлинному благу, которое могло бы стать [для него] источником красоты, истины, радости и полноты, чем те, кто удостаивает его своей милости. Но поскольку он этим благом не обладает и не знает, как до него добраться, всё идет так, как если бы он был от него бесконечно далек. Те, кто выступает от его лица, кто выступает перед ним, в равной мере не способны понять ни то, в какой беде он находится, ни до какой полноты блага ему почти рукой подать. А ему — ему это понять необходимо.

Несчастье само по себе не поддается выговариванию. Несчастные беззвучно умоляют дать им слова, чтобы они могли выговориться. Веками им это не удается.

Есть другие, от кого поступают к ним слова, но дурно выбранные, ибо выбирающие их сами чужды несчастью, о котором толкуют.

Они далеки от него чаще всего по положению, в которое поставлены обстоятельствами. Но даже если они к нему и близки — или находились в нем в течение какого-то, пусть даже недавнего, периода своей жизни, — они тем не менее ему чужды, потому что сделались ему чужды сразу, как только смогли.

Мысль так же гнушается мыслить о несчастье, как живая плоть гнушается смертью. Олень, шаг за шагом приближающийся к стае волков, чтобы добровольно дать им в зубы, — сцена, примерно столь же возможная, как действие внимания, направленного на реальное и непосредственно-близкое несчастье, со стороны ума, имеющего возможность от этого внимания удержаться.

Что, будучи необходимо для блага, невозможно для природы, — то всегда возможно сверхъестественным образом.

Сверхъестественное благо не есть что-то вроде приложения к благу естественно-му, как хотели бы нас убедить с помощью Аристотеля, к нашему вящему утешению. Это было бы приятно, но это не так. Во всех острых проблемах человеческого существования стоит выбор между сверхъестественным благом и злом.

Вложить в уста несчастных слова, принадлежащие к средней области ценностей, — демократия, права или личность, — значит сделать им такой подарок, который не способен принести им ни капли добра, зато неизбежно принесет много зла.

Этим понятиям нет места на небе, они подвешены в воздухе, и по этой причине не способны даже коснуться земли.

Только свет, непрестанно льющийся с неба, дает дереву энергию, вонзающую глубоко в землю мощные корни. Дерево поистине укоренено в небе.

Только нисходящее с неба способно реально оставить след на земле.

Если мы хотим действительно вооружить несчастных, то должны вкладывать им в уста только те слова, чья истинная обитель — на небе, по ту сторону неба⁹, в ином мире. Не надо бояться, что это невозможно. Несчастье побуждает душу жадно ловить и вбирать в себя всё исходящее оттуда. Этого рода продуктов не хватает не у потребителей, а у поставщиков.

Для выбора слов существует критерий, который легко узнать и использовать. Те, кто несчастен, кто потонул во зле, томятся по благу. Им нужно давать слова, выражающие только благо, благо в его чистоте. Отличить их просто. Слова, с которыми можно связать что-то означающее зло, чужды чистому благу. Мы выражаем осуждение, когда говорим: «он придает слишком большое значение своей личности». Значит, личность чужда благу. Можно говорить о «злоупотреблении демократией». Значит, демократия не относится ко благу. Обладание правами подразумевает возможность пользоваться ими как в добрых, так и в дурных целях. Значит, права не относятся ко благу. Напротив, исполнение того, что ты обязан сделать, является благом всегда и везде. Истина, красота, справедливость, сострадание являются благами всегда и везде.

⁹ Ср. Платон, Федр, 247с.

Чтобы быть уверенными, что, ведя речь об устремлениях несчастных, мы говорим то, что должно, достаточно обходиться словами и фразами, выражающими всегда, везде и во всех обстоятельствах только благо.

Вот одна из всего лишь двух услуг, которые мы можем оказать им с помощью слов. Другая — находить слова, выражающие правду их несчастья: те, которые поверх всех внешних обстоятельств делают слышимым их всегда безгласный крик: «Почему мне делают зло?»

Им не приходится рассчитывать в этом на людей с талантом, на личности, на знаменитостей и даже на гениев в том смысле, в котором обычно употребляют слово «гений», путая его со словом «талант». Они могут рассчитывать только на самых настоящих гениев: на певца «Илиады», Эсхила, Софокла, Шекспира — каким он был, когда писал «Лира», Расина — каким он был, когда писал «Федру». Этого немного.

Зато есть великое множество людей, которые, будучи мало или средне одарены от природы и кажутся безмерно ниже не только Гомера, Эсхила, Софокла, Шекспира, Расина, но и Вергилия, Корнеля, Гюго, — но при этом пребывают в царстве безличных благ, куда не проникли эти последние.

Деревенский дурачок, дурачок в буквальном смысле слова, реально любящий истину, хотя бы он не издавал ничего, кроме лепета, своей мыслью бесконечно выше Аристотеля. Он бесконечно ближе к Платону, чем был когда-либо Аристотель. Он гениален, тогда как к Аристотелю подходит лишь слово «талант». Если бы какая-нибудь фея пришла к нему и предложила сменить его удел на тот, что был бы равен уделу Аристотеля, мудрым для него было бы отказаться не раздумывая. Но он ничего об этом не знает. Потому что никто ему не говорит. Все говорят противоположное. Надо ему сказать об этом. Надо ободрять этих дурачков, этих людей без таланта, людей с дарованием средним или чуть выше среднего, которые — гениальны. Не надо бояться приучить их к гордости. Любовь к истине всегда имеет спутником смирение. Настоящая гениальность есть не что иное, как сверхъестественная добродетель смирения в области мысли.

Вместо того чтобы поощрять расцвет талантов, как призывали в 1789 году, нужно лелеять и согревать нежным уважением рост гениальности; ибо только поистине чистые герои, святые и гении могут быть подмогой несчастным. Между теми и другими стоят преградой, препятствуя этой подмоге, люди таланта, ума, энергии, сильного личного начала. Не будем делать ничего плохого этой преграде, надо просто мягко отставить ее в сторону, стараясь сделать это как можно менее заметно для нее. И надо разрушить гораздо более опасную преграду коллективного, разрушив всю ту часть наших установлений и нравов, где гнездится какая-либо форма партийного духа. Ни великая личность, ни партия никогда не дадут аудиенции ни истине, ни несчастью.

Существует естественный союз между истиной и несчастьем, ибо и первая и второе суть немые просители, которым вечно суждено оставаться перед нами без права голоса.

Как бродяга, обвиняемый в том, что выдернул в поле морковку, стоит перед судьей, удобно усевшимся и изящно нанизывающим вопросы, комментарии и на-

смешки, тогда как тому не удастся даже что-то пролепетать, — так стоит истина перед интеллектом, занятым элегантным выстраиванием мнений.

Речь, даже у человека, который по видимости молчит, всегда есть то, что формулирует мнения. Естественная способность, называемая интеллектом, связана с мнениями и языком. Речь высказывает эти отношения. Но она высказывает их недостаточно, потому что действует во времени. Если речь спутана, неясна, неточна, сбивчива, если ум, который ее издает или который слушает, плохо способен сохранять представление о мысли, тогда она лишается или почти лишается всякого реального содержания этих отношений. Если речь совершенно ясна, точна, строга, упорядочена, если обращается к уму, способному, восприняв мысль, сохранять представление о ней, пока он воспринимает другую, сохранять представление о них обеих, пока воспринимает третью, и так далее, — в этом случае речь может быть относительно богата отношениями. Но, как всякое богатство, это относительное богатство есть жестокая нищета в сравнении с совершенством, которое одно лишь и является желанным.

Даже в лучшем случае, ум, замкнутый в речи, находится в темнице. Предел для него есть то количество отношений, которое слова могут представить в уме одновременно. Он остается в неведении относительно мыслей, которые предполагает комбинация более многочисленных отношений; эти мысли остаются несказуемы, неформулируемы, даже будь они совершенно строги и ясны, будь каждое из составляющих их отношений выразимо в совершенно точных словах. Таким образом, ум вращается в закрытом пространстве частичной истины, которое, впрочем, может быть большим или меньшим, но не бросить и взгляда на то, что находится вне его.

Если пленный ум не знает о своем пленении, он живет в заблуждении. Если он его признаёт, хоть на десятую долю секунды, а потом постарается забыть о нем, чтобы не страдать, то он живет в обмане. Человек самого блестящего интеллекта может родиться, жить и умереть в заблуждении и обмане. У таких интеллект не является ни благом, ни даже просто преимуществом. Различие между людьми большего или меньшего интеллекта — как различие между преступниками, осужденными на пожизненное одиночное заключение в камерах большего или меньшего размера. Человек, гордый своим интеллектом, напоминает осужденного, гордящегося просторной камерой.

Уму, чувствующему свое пленение, хотелось бы скрыть от себя этот факт. Но если ему отвратительна ложь, он не сделает этого. Тогда ему придется много выстрадать. Он будет до изнеможения биться об стену; поднимется, посмотрит со страхом на эту стену, потом однажды начнет биться снова, до нового изнеможения, и так далее, без конца, без всякой надежды. И настанет день, когда поднимется с пола по ту сторону стены.

Он может всё еще оставаться пленником, просто внутри большего пространства. Ну и что? Он уже обладает ключом, тем секретом, от которого падают любые стены. Он уже вышел за пределы того, что люди зовут интеллектом: он там, где начинается мудрость.

Всякий ум, замкнутый в речи, способен только на мнения. Всякий ум, ставший способным понять мысли, по причине множества сочетающихся в них отношений невыразимые, хотя бы они были и строже и яснее выраженных самым точным языком, — всякий ум, достигший этой точки, уже находится в истине. определенность,

вера без тени отныне становятся его достоянием. И не так важно, обладал он прежде большим или меньшим интеллектом, жил в камере тесной или просторной. Важно лишь то, чтобы, дойдя до края своего интеллекта, каким бы этот интеллект ни был, он мог выйти за его пределы. деревенский дурачок столь же близок к истине, как и вундеркинд. Оба, и тот и другой, отделены от нее только стеной. В истину нельзя проникнуть иначе, как через низведение себя в ничто: иначе, как проведя долгое время в состоянии крайнего и тотального унижения.

То же самое препятствие стоит и на пути познания несчастья. Как истина отличается от мнения, так несчастье — от страдания. Несчастье — механизм раздробления души; человек, попавший в него, — будто рабочий, которого затянуло зубьями машины. Всего лишь искромсанная, кровавая масса.

Степень и природа страдания, создающая несчастье в собственном смысле слова, очень различается у разных людей. Это зависит прежде всего от количества жизненной энергии, которой человек обладал в исходной точке, и от способа вести себя, принятого перед лицом страдания.

Человеческая мысль не может признать реальность несчастья. Если кто признаёт реальность несчастья, он должен сказать себе: «каприз обстоятельств, которые не в моей власти, может швырнуть меня куда угодно, в любой момент, вместе с вещами, столь мне близкими, что я отношусь к ним так, будто они и я — одно и то же. Во мне нет ничего, чего я не мог бы потерять. Случай может уничтожить то, что есть я, и поставить на его месте что-нибудь злое и презренное».

Думать так всей душой — значит испытывать небытие. Состояние крайнего и тотального унижения является также условием перехода к познанию истины. Это некая смерть души. Поэтому и зрелище обнаженного несчастья так же заставляет сжиматься душу, как приближение смерти — плоть.

О мертвых думают с сожалением, когда вспоминают их только умом, или когда приходят к ним на могилы, или когда видят их подобающе прибранными на смертном ложе. Но зрелище иных трупов, валяющихся на поле боя в виде одновременно отвратительным и гротесковым, наводит ужас. Смерть предстает нагой, неприкрытой, и плоть содрогается.

Когда материальная или моральная отдаленность позволяет видеть несчастье лишь туманно, смутно, не отличая от простого страдания, оно внушает благородным душам сочувствие. Но когда однажды игра обстоятельств внезапно откроет его перед нами в его наготу, как то, что разрушает, как увечье или проказу души, мы трепещем и холодеем. и сами несчастные испытывают подобный трепет ужаса перед собой.

Выслушивать кого-то — значит ставить себя на его место, пока он говорит. Ставить себя на место человека, чья душа искалечена несчастьем, или находящегося в непосредственной опасности этого, — значит сводить в небытие собственную душу. Это труднее, чем счастливому ребенку решиться на самоубийство. Поэтому несчастных не слушают. Они находятся в состоянии того, кому отрезали язык, но по временам он забывает о своем увечье. Его губы движутся, но ни один звук не выходит, чтобы потревожить чужие уши. Несчастные сами быстро утрачивают силу владения языком, убедившись в том, что их не слушают.

Вот почему у бродяги, стоящего перед судьей, нет никакой надежды. Если в своем косноязычном бормотании он и выскажет что-то рвущее, пронзающее душу, оно не

будет услышано ни судьей, ни зрителями. Это немой крик. И между собой несчастные почти всегда так же глухи друг ко другу. И каждый несчастный, под давлением общего безразличия, то ли обманывая себя, то ли бессознательно, пытается сделать себя глухим перед самим собой.

Только сверхъестественное действие благодати проводит душу через ее самоуничтожение до того самого места, где обретают такое внимание, которое только одно и позволяет быть внимательным и к истине, и к несчастью. Для обоих этих предметов оно одно и то же. Внимание глубокое, чистое, безмотивное, бескорыстное, щедрое. и это внимание есть любовь.

Поскольку и несчастье, и истина, чтобы быть услышанными, нуждаются в одном и том же внимании, дух справедливости и дух истины составляют одно. Дух справедливости и истины — не что иное, как определенный вид внимания, которое есть чистая любовь.

По вечному устроению Промысла, всё, что производит любой человек в любой области, когда его направляет дух справедливости и истины, облечено сиянием красоты.

Красота есть наивысшая тайна этого мира. Сияние, которое, возбуждая внимание, не предоставляет никакого мотива, чтобы продлить его. Красота всегда обещает и никогда ничего не дает; она вызывает чувство голода, но в ней нет пищи для той части души, которая здесь, на земле, стремится к насыщению; она дает пищу только той части души, которая смотрит. Вызывая желание, красота дает ясно почувствовать, что в ней нечего желать, так как мы заботимся прежде всего о том, чтобы в ней ничего не менялось. Если не искать уловок, чтобы выйти из сладкой муки, которую она причиняет, желание постепенно преобразуется в любовь, и формируется зародыш способности к бескорыстному и чистому вниманию.

Насколько несчастье уродливо, настолько истинное изображение несчастья обладает величественной красотой. Даже из последних веков можно привести в качестве примеров «Федру»¹⁰, «Школу жен»¹¹, «Лира», стихи Вийона, но еще намного прекраснее трагедии Эсхила и Софокла; а еще намного прекраснее — «Илиада», «Книга Иова», некоторые творения фольклора; а еще намного прекраснее — повествования о Страстях в Евангелиях. Сияние красоты проливается на несчастье в свете духа справедливости и любви, который один только и позволяет человеческой мысли созерцать несчастье и изображать его таким, как оно есть.

Так и всякий раз, когда фрагмент невыразимой истины отливается в слова, которые, не в силах вместить истину, вдохновившую их, столь совершенно соответствуют ей своим сочетанием, что облегчают дело всякому уму, желающему найти ее, — всякий раз, когда так происходит, на этих словах бывает разлито сияние красоты.

Всё, происходящее от чистой любви, просвещено сиянием красоты.

Красота ощутима, пусть очень смутно и в смешении со множеством ложных имитаций, и внутри той камеры, где поначалу бывает заключена всякая человеческая мысль. Безъязыкие справедливость и истина не могут надеяться ни на чью помощь,

¹⁰ Трагедия Расина.

¹¹ Комедия Мольера.

кроме красоты. Она также безъязыка; она не обладает даром речи; она ничего не говорит. Но у нее есть голос, чтобы призывать. Она зовет [нас], указывая на истину и справедливость, у которых нет голоса. Как пес лает, чтобы люди нашли его хозяина, без чувств лежащего в снегу.

Справедливость, истина, красота — сестры и союзницы. С этими столь прекрасными тремя словами нет нужды искать других.

Справедливость состоит в том, чтобы людям не причиняли зла. Человеку причиняется зло, если он внутренне кричит: «Почему же мне делают зло?» Подчас он ошибается, пытается осознать, какое именно зло ему причиняют, кто причиняет, почему причиняют. Но сам его крик — безошибочен.

Другой крик, который слышится весьма часто: «Почему он имеет больше, чем я?» — связан с правами. Нужно научиться различать оба крика и второй из них принуждать к молчанию как можно больше, но как можно менее жестоко, с помощью уголовного кодекса, обычных судов и полиции. для образования умов, способных разрешать проблемы из этой области, достаточно Школы права.

Но крик: «Почему мне делают зло?» — ставит совсем другие проблемы, для [решения] которых необходим дух истины, справедливости и любви.

Во всякой человеческой душе постоянно возникает потребность, чтобы ей не причиняли зла. Текст молитвы «отче наш» адресует прошение об этом Богу. но Бог имеет власть сохранять от зла только вечную часть души, входящей с ним в реальный и прямой контакт. Остальная часть души (и вся душа целиком у любого, кто не получил благодати реального и прямого контакта с Богом) предоставлена воле людей и случайности обстоятельств.

Так что это люди должны заботиться о том, чтобы людям не делали зла.

Когда кому-то делают зло, в него поистине сходит зло; не только скорбь и страдание, но самый ужас зла. Как люди имеют силу передавать друг другу благо, так имеют силу передавать и зло. Можно передавать зло человеку, льстя ему, окружая его комфортом и удовольствиями; но чаще люди передают зло людям, причиняя им зло.

Вечная Премудрость, однако, не оставляет человеческую душу полностью на милость случайных событий и человеческой воли. Зло, причиненное человеку извне в форме раны, обостряет желание блага и таким образом автоматически порождает возможность исцеления. Когда рана проникла глубоко, желаемое благо — это благо совершенно чистое. Часть души, вопрошающая: «Почему мне делают зло?» — есть та глубинная часть, которая у каждого человеческого существа, даже самого оскверненного, остается с самого раннего детства совершенно нетронутой и совершенно невинной.

Сохранять справедливость, защищать людей от всякого зла — прежде всего значит препятствовать тому, чтобы им делали зло. Для тех, кому сделали зло, справедливость состоит в том, чтобы изглаживать его материальные последствия, создавать для жертвы условия, где рана, если она не проникла слишком глубоко, исцелялась бы естественным путем через благополучие. Но для тех, кому рана разодрала всю душу, справедливость состоит более и прежде всего в том, чтобы утолить жажду, давая им пить от совершенно чистого блага.

Может возникать даже обязанность причинить зло, чтобы вызвать эту жажду с целью ее утолить. В этом и состоит наказание. те, кто стали чужды благу до такой степени, что устремились к распространению зла вокруг себя, могут быть возвращены ко благу не иначе как через причинение им зла. Нужно его причинять им вплоть до того, как из глубины их самих поднимется голос совершенно невинный, который скажет с удивлением: «Почему мне делают зло?» Нужно, чтобы эта невинная часть души преступника получала пищу и возрастала, пока не поставит саму себя на внутреннем суде души, чтобы судить свои прошлые преступления, чтобы осудить их, а затем, с помощью благодати, простить их. Так действие наказания завершается: виновный возвращен к добру и должен быть публично и торжественно воссоединен с гражданской общиной.

Наказание есть не что иное, как именно это. Даже смертная казнь, хоть она и исключает возвращение в гражданскую общину в буквальном смысле, не должна быть чем-то иным. Наказание есть исключительно действие, призванное доставить чистое благо людям, которые его не желают: искусство наказывать есть искусство пробуждать у преступников желание чистого блага посредством скорби и даже смерти.

Но мы полностью утратили и понятие о наказании. Мы уже не знаем того, что оно состоит в оказании блага. для нас оно прекращается на причинении зла. Вот почему однаединственная вещь в современном обществе, которая еще отвратительнее, чем преступление, это карающая справедливость.

Сделать карающую справедливость центральным мотивом в усилиях войны и мятежа куда опаснее, чем можно только вообразить. Бывает необходимо использовать страх для обуздания преступных действий негодяев; но скверно делать карающую справедливость, такую, как она понимается у нас сегодня, в нашем невежестве, мотивом для героев.

Каждый раз, когда современный человек говорит о наказании, о каре, о расплате, о справедливости в карательном смысле, речь идет лишь о самой низкой мести.

Тем сокровищем страдания и насильственной смерти, которое Христос выбрал для Себя и которое он столь часто дарует Своим любимым, мы настолько пренебрегаем, что бросаем его людям, в наших глазах наиболее порочным, сознавая, что они никак не смогут получить от него пользу, и не имея намерения помочь им обрести эту пользу.

Преступникам — подлинное наказание; несчастным, которых несчастье поразило до глубины души, — помощь, способную утолить их жажду [блага] из сверхъестественных источников; всем остальным — немного благополучия, много красоты и защиту от тех, кто мог бы причинить им зло; повсюду — строгое ограничение сумятицы лжи, пропаганды и мнений; водворение безмолвия, в котором могла бы прорасти и вызреть истина; вот то, что надо делать для людей.

В обеспечении этого можно рассчитывать лишь на людей, перешедших с другой стороны некой границы¹². Скажут, что таких очень мало. Они, вероятно, редки, но, впрочем, сосчитать их нельзя; большая часть их сокрыта. Чистое благо посылается с

¹² Т.е. тех, кто, пройдя школу страдальческого очищения, уже вызволил ум из «темницы мнений» (см. выше).

неба на землю — хоть каждой отдельной душе, хоть обществу — лишь в неощутимом количестве. «Горчичное семя — меньше всех семян»¹³. Персефона съела лишь семечко граната¹⁴. Жемчужина, зарытая в поле, невидима¹⁵. Закваска, примешанная к тесту, незаметна¹⁶.

Но, как катализаторы в химических реакциях или бактерии, примером которых является закваска, так и в человеческих делах неразличимые зерна чистого блага действуют решающим образом через само их присутствие, если они положены туда, куда нужно.

Как положить их туда, куда нужно?

Многое совершилось бы, если бы среди тех, кому поручено показывать публике, что ей хвалить, чем восхищаться, на что надеяться, чего искать, чего требовать, несколько решились хотя бы презирать абсолютно и без исключения всё, что не является чистым благом, истиной, справедливостью, любовью.

Еще больше было бы сделано, если бы большинство из тех, кто сегодня удерживает осколки духовного авторитета, осознали за собой обязанность никогда не предлагать устремлениям людей ничего, кроме реального и совершенно чистого блага.

Когда говорят о силе слов, речь идет всегда о силе иллюзии и обмана. но, по устройству Промысла, есть некоторые слова, которые, если ими правильно пользоваться, сами по себе имеют силу просвещать и возводить ко благу. Это слова, которым соответствует абсолютное и недостижимое для нас совершенство. Сила просвещать и увлекать к высоте заключена в самих этих словах, в этих словах как таковых, не в каком-либо представлении. Ибо правильно пользоваться ими — это прежде всего не искать в них соответствия какому-то представлению. то, что они выражают, неподвластно представлению.

Такие слова — Бог и истина. А также — справедливость, любовь, благо.

Такие слова опасны в употреблении. Их использование — ордалия¹⁷. Чтобы пользоваться ими законно, нужно, не заключая их ни в каком человеческом представлении, соединять с ними представления и действия, прямо и безраздельно вдохновляемые их светом. Иначе все быстро распознают в них обман.

Они — неудобные спутники. Такие слова, как права, демократия и личность, — куда удобнее. В этом качестве они, естественно, выглядят предпочтительнее для тех, которые, даже с благими намерениями, приняли на себя государственные должности. Государственные должности означают не что иное, как способность делать людям благо, и принимающие их на себя с благими намерениями желают распространять

¹³ Ср. Мф. 13:31–32; Мк. 4:30–32.

¹⁴ Эпизод мифа о похищении Персефоны, дочери Деметры, Аидом, излагаемый в гомеровском «Гимне Деметре». Съев три зернышка граната, Персефона уже не может не возвратиться в царство похитившего ее Аида, когда из своего подземного царства он отпускает ее навестить мать. Для Симоны Вейль — один из излюбленных образов пленения души божественной истиной.

¹⁵ Ср. Мф. 13:44–46.

¹⁶ Мф. 13:33; Лк. 20–21.

¹⁷ Т.н. «Божий суд», известный особенно по сводам законов раннего Средневековья и заключавшийся чаще всего в испытании огнем или водой. Не получивший от них вреда признавался правым, а получивший — виновным. По мысли Симоны, последствия использования таких слов, как «Бог», «истина» и т. п., добрые или дурные, выявляют, законным или незаконным было это использование.

благо на своих современников; но, как правило, они ошибочно полагают, что в первую очередь могут сами задешево приобрести его.

Слова из средней области, такие как права, демократия, личность, полезны в своей области — области средних установлений. Но то вдохновение, откуда проистекают все те установления, лишь проекцией которых являются установления средние, нуждается в другом языке.

Подчинение личности коллективу столь же в природе вещей, как перевес килограмма над граммом на чашках весов. Но весы могут быть и такими, что грамм на них перевесит килограмм. Для этого достаточно, чтобы одно плечо было более чем в тысячу раз длиннее другого. Закон равновесия полновластно преобладает над неравенством грузов. Но никогда меньший вес не победит большего без такого отношения между ними, в котором закреплён закон равновесия.

Точно так же личность может быть защищена от коллектива, и демократия может быть гарантирована не иначе как через закрепление в публичной жизни высшего блага, безличного и не соотносимого ни с какой политической формой.

Правда, слово «личность» часто прилагается к Богу. Но в том месте, где Христос предлагает людям Самого Бога в качестве образца того совершенства, достигнуть которого он им заповедует, с Богом соединяется не только образ личности, но прежде всего образ безличного порядка: «Будьте сынами отца вашего небесного в том, что он посылает солнце светить на злых и добрых, и дождь — лить на праведных и неправедных»¹⁸.

Этот безличный и божественный порядок мироздания среди нас имеет образом справедливость, истину и красоту. Ничто низшее, чем эти вещи, недостойно вдохновлять людей, согласных на смерть.

Сверх установлений, защищающих права, личности, демократические свободы, нужно изобрести другие, направленные на различение и устранение всего, что в современной жизни подавляет души несправедливостью, обманом и уродством.

Нужно именно изобрести их, ибо они неведомы, и невозможно сомневаться в том, что они необходимы.

¹⁸ Ср. Мф. 5:45.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Симона Вейль
Личность и священное
Коллективность — Личность — Безличное — Права — Справедливость
1957

Перепечатка по изданию: **Вейль Симона**. Личность и священное / Перевод с французского П. Епифанова. — СПб.: Jaromír Hladík press, 2019.
В написанной незадолго до смерти статье «Личность и священное» Симона Вейль (1909–1943) с присущей ее этической мысли бескомпромиссной последовательностью ищет в человеке ценности, подлинно священные для общества и государства, и приходит к парадоксальному выводу, что это не личность, а безличное; не естественное право, а детское ожидание добра; не дарования и способности, а смиренная надежда на истину и красоту; не самореализация, а безъязыкий крик несчастья; не стремление к свободе, а жажда сверхъестественного блага.

ru.anarchistlibraries.net